

Кио ЛР.

2/8 88

А МОЖЕТ быть, завтра подуют холодные ветры, листопады и ливни разденут чернеющий лес и лохматые хороводы птичьих стай закружатся в небе, провожая эпоху вызывающе синих небес, теплых вод и огромного летнего счастья, бематежной и дерзкой веры, что никогда не наступит минута скорбящей разлуки, никогда не прибрежит рябая мокрая курица и завалит белой скорлупой все на свете...

Мы привычно все делим — мир целиком непостижим. Цирк, если брать его огромное покое сердце — арену, зрительные ряды, купол, — цирк тоже имеет времена года: да-да, лето, весну, осень и зиму. Цирковая зима — это скучная, напряженная подготовка к представлению: громкие слова, привычные движения, озабоченные лица, та самая предвесенняя суета, которая прорвется весенней отчаянной распутицей горящих огней, ручьями голосов, пьянящим воздухом ожидания Чуда — это самое прекрасное в жизни ожидание... Лето — это трюки, музыка, которая знает только два мотива — «ура!» и «вот сейчас, слабонервные, вылетайте из зала, тара-ра-ра-ра-ра!», клоуны, тигры, сердце твое, что ныряет вниз с воздушной гимнастикой и поднимается вслед за трудягой по канату, это одна, огромная, на тысячу мест — улыбка, как волна, смылающая морщины с твоего лба, души, и осень...

Пустой цирк — это осень, это пыльная тишина, это скорбный взгляд сотен кресел, это вечное напряжение красного круга манежа — веселой рулетки, — куда сейчас, вот-вот чья-то щедрая рука швырнет кубики нашей игры, свернув мирозданье цирковым куполом, и мы станем одним плечом, взором, ударом сердца.

И вот осень: ленивым веком колыхается занавес, и четкая фигура, черно-белая; фрак и лицо, рубашка и руки, на излете одинокого луча, стелющегося под ноги желтую лужицу света, — выходит Игорь Кио.

Осень. В цирке — осень.

Цирк — неистовый везучик, собравшийся и поднявшийся за какое-то столетие из осколков уличных празднеств и бродячих шуток народного юмора, взметнулся до искусства могучего и всеобщего — этот цирк теперь похож на хорошего доброго мальчика, которого так все любили в детстве, который на радостях позвал всех на день рождения, соединил всех за одним столом, дарил дареное и рассказывал гостям и вдруг увидел, что гости его — девочки и мальчики — вдруг выросли, пришли новые дети, не принимающие его в свои игры, время отняло игрушки — и мальчик стоит на пороге своей квартиры, и ветер треплет его рыжие клоуны волосы, и настоящие горькие слезы льются из глаз — осень.

А может быть, завтра подуют холодные ветры, листопады и ливни разденут чернеющий лес...

СПРАШИВАЙТЕ, — говорит Кио в центре манежа, в центре красной лупы волшебного фонаря нашего детства. Детства человечества. — **Спрашивайте.** Только я не люблю вопросы: сколько вы получаете и бывает ли у лилипутов дети? Вопросы надо задавать конкретнее...

Трудно отсюда, из чешуи пустых кресел, занимая единственное место рядового зрителя, спрашивать конкретно — как себя чувствует самоучка-иглоукаливатель: попаду не попаду, по форме-то одинаково — укол, а вот по пользе... Тем более если трехлетняя пленница очень просила выяснить, как у рояля отламываются ножки, а он стоит, а самому отчего-то ужасно хочется поинтересоваться — откуда в значительном количестве берутся такие, ну прямо-таки очень симпатичные ассистентки в аттракционе Кио.

— Я получаю за выступление 25 рублей, — устало рапортует Кио кому-то в темноту. Играет музыка, над головой черной тенью висит черный рояль...

— Девушек набираем в городах, где выступаем, — целый конкурс для этого устраиваем. Про рояль не скажу, это волшебство, — говорит Кио устало, и свет размыкает языки темноты. Чародей садится на бортик манежа ко мне спиной, упершись крупной головой в сложенные шашлаком ладони.

«Совесть небось мучает — сколько народу-то пережил да пережил, — с осторожной злорадностью мшу я за нераскрытую тайну рояля. — Вот и чудеса твои...»

Да не чародей он! Иллюзионист.

Жизнь девальвирует понятия чаще, чем

государство проводит денежную реформу. Если что-то растет — значит что-то сохнет. Ура и увя. Могучие богатые съезжались до «выступающих в весовой категории», волшебники слова стали членами Союза писателей, а чародей и маги — иллюзионистами. Просто иллюзионистами. И мы редко ходим в цирк.

Не чародей — иллюзионист. Вот это будет точкой отсчета.

КИО ГОВОРИТ о своих номерах «трюк». Он не говорит «фокусы». Мне кажется, Игорю Эмильевичу не нравится это слово. «Фокус» — это ловкие тягучие пальцы и шарик, исчезающий в них и потом высывающийся из рта. Это слово не подходит к двенадцати железнодорожным вагонам и почти сотне участникам

века советского цирка — его прекрасного «лета». Кио, который стал родоначальником жанра и показал пример подлинной судьбы — как надо меняться: он сменил восточную тайну, доведившую людей до визга и обморока, на черный фрак и изысканную иронию, рожающую взрывы хохота. Кио, чье имя золотыми буквами на доске почетных членов Всемирного клуба магии в Лондоне. На первом месте!

И это будет нечестно сказать: Кио был. Он есть. Это реально существующая величина, и каждому новому телу в космосе цирка приходится прокладывать свою орбиту с учетом притяжения этой суперзвезды.

— Но для меня это — палка о двух концах, — напоминает Игорь.



Народный артист СССР Игорь КИО:

«Цирк не терпит многословия...»

аттракциона Кио, который называется с не сдающейся времени цирковой витиеватостью «Цирковой, иллюзионный, музыкально-хореографический спектакль «Раз, два, три...»

— Внешне показ трюка — это очень просто. Я раз вам покажу, и завтра вы будете делать это сами. Но рождается трюк кропотливым трудом целого коллектива: художника, композитора, балетмейстера, бутафора, режиссера, актеров. Идея, сама по себе, приходит порой самым невероятным образом. Знакомый пианист рассказывал однажды жуткий сон: играет он на рояле в Большом зале консерватории, и вдруг рояль вырывается у него из-под рук и начинает летать по залу с поднятой крышкой, как с черным парусом, а пианист все завороченно окунает пальцы в пустоту. И теперь в нашем аттракционе у рояля отламываются ножки и он повисает в воздухе!

Придумать что-то новое трудно чрезвычайно: у музыканта в формуле фокуса можно использовать только три операции: возникновение, изменение, превращение... И все.

Время отняло у нас мистику, очаровательный налет таинственности. Теперь от нас ждут не испуга и потрясения. Нужен контакт, нужно великолепное праздничное зрелище. И поэтому мне сейчас тяжело: поймет кто из зрителей мой трюк или нет. У каждого пусть будет свое мнение. Дело не в чуде, — Кио вздыхает, — которого нет. Дело в том, как его преподнести. Уровень артиста нашего жанра определяется теперь прежде всего этим.

Формула фокуса: появление, презращение, исчезновение...

Это формула судьбы человека, артиста. Появление... Откуда? Фокусников училища не готовят.

ИГОРЬ ЭМИЛЬЕВИЧ — сын Кио. Великого Кио, который из билетера стал одним из патриархов-символов золотого

В тени больших деревьев легче восходить, но труднее расти.

Первый конец палки тот, который чаще всего вставляют в колеса: что бы ни делал Игорь — его будут сравнивать с отцом, а психология человека неизменна: человеку всегда свойственно окрашивать ушедшее в более прекрасные тона, чем настоящее. Новый Кио хуже, чем старый. Хотя Кио как раз не изменился — изменилось время.

Второй конец палки был волшебным. Это было то, что Игорь называет «волчьим везением».

С пяти лет он помогал отцу на манеже, жил и дышал цирком, когда умер отец, к нему перешла опробованная и отделанная программа, с ним остались многие из отличной команды отца: Анатолий Мандригер, Леонид Фрадкис.

— О, Фрадкис, — прерывает голос за кадром Игорь, — Фрадкис — это великий администратор. Как у нас говорят: там, где раз был Фрадкис, цирку второй раз делать нечего. Он — фанатик своей работы: если у него пропадет какой-нибудь плакат — он ночь спать не будет. Однажды в Киеве, прогуливаясь под руку с девушкой, он с ужасом замечает, как несколько рабочих под руководством бойкого администратора завешивают рекламу Кио своим огромным театральным плакатом.

— Это почему?! — возмущился Фрадкис.

— Хватит, надоели ваши фокусы, — крикнул ему толстый администратор-конкурент и добавил рабочим: — Давайте, давайте...

Фрадкис в сердцах бросил девушку, и к вечеру уже имел душевную беседу с шофером машины, оборудованной поднимательной будкой.

— Слышишь, друг, — сказал он ему,

протягивая червонец, — я администратор театра, который был у вас на гастролях. Завтра мы уезжаем, ты, уж, пожалуйста, сними нашу рекламу и выбрось в Днепр. Хорошо?

Поручение было исполнено в точности. Скандаль вышел громкий, но, как озорно выразился Фрадкис: «Я аплодировал себе за спиной».

Мы смеемся. Кио интересно рассказывает и, всегда медлительный, чуть оживает, загадочно поблескивая глазами из-под толстых стекол темных очков.

— Когда мне было пятнадцать, отец заболел. У меня спросили, смогу ли заменить. Я сначала бодро сказал: смогу! Потом ужаснулся: ведь один же... Так состоялось первое самостоятельное выступление. Дальше выступали уже вместе, я дублировал отца. В 1965 году Эмиль Теодорович умер. Мне было двадцать один год... Началась работа во главе большого коллектива. У меня был выбор...

Помните формулу? Появление. Превращение...

— Выбор был такой: несмотря на общее мнение, что дело отца теперь неизбежно захиреет, — держать во что бы то ни стало уровень отца. И второй путь: отказаться от всего прежнего и попытаться сделать что-то новое, свое, смирясь с возможным падением класса.

Он выбрал первое.

И ему удалось это первое — значит выбор был по силам, дело Э. Т. Кио живет. Советский цирк сохранил иллюзионный аттракцион высокого уровня — Кио теперь даже двое: параллельно с Игорем на манеже работает его старший брат — Эмиль. У каждого из братьев есть успех, зарубежные гастроли, хвалебные рецензии, популярность.

Но прошло уже два десятилетия. Игорю Кио уже сорок четыре, и подступает к сердцу смутная пора итогов, последняя, быть может, возможность выбора, время перемен, время сомнений — вечных спутников настоящего артиста. Но не главная тревога в том, что за спиной, главная тревога в другом. Осень.

ЭРА ЦИРКА прошла. Сейчас другое... Может быть, эстрада? Или что еще... неважно. Цирк в своем классическом виде уже никого не интересует. Пусть на арене будет восемь слонов и двадцать тигров, пусть жонглер бросает на одно кольцо больше — это для нас победа, рекорд — зрителю это уже не интересно. Люди перестали удивляться. Или мы перестали удивляться? Легче всего винить время — ему выговор не объявишь, ведь упал же интерес к классической музыке, опере, балету — для ценителей это по-прежнему большая радость, и у цирка есть такие ценители — но нам нужен массовый зритель. У нас выступление только три раза в неделю — уже очень плохо. Мы остро чувствуем, что люди реже ходят в цирк. Я не знаю, что, но надо что-то делать: подобрать компетентных руководителей, покончить с уравниловкой, улучшить рекламу, подумать над изменением совершенно дикой ситуации — 80 цирков по всей стране, а шесть тысяч артистов числятся москвичами, ну, я не знаю, это не моя задача, — я артист...

Игорь Эмильевич замолкает и ходит по красному омуту манежа, куда он вступил в пять лет, смотрит под ноги, сутуловатый и грустный...

Тут единственный зритель стал поерзывать в кресле и усиленно телепатировать в затылок иллюзиониста:

— Игорь Эмильевич, старая истина: отступать легче всего всем вместе. Чтобы наступать — надо встать кому-то одному, взять на себя огонь. Ведь были же те, кто пытался наступать, но вы-то были в середине, у вас был надежный багаж, вы его только чуть-чуть косметически улучшали, вы жили на проценты. Честь и хвала, что сейчас, среди собственного благополучия, вы начинаете чувствовать холодные ветры осени, но не лучше ли было сделать это раньше...

Нельзя судить человека за то, чем он не был. Можно судить за то, чем он был. А был Кио артистом экста-класса, и сконфуженный зритель осекается, оправдывая себя лишь тем, что порой горячая любовь иногда запальчива. Но всегда чиста и правдива.

— Но почему?! — оборачивается Игорь с возмущением. — Я ведь мог придумать

что-то новое еще, я бы мог улучшить свой аттракцион. Но мне это неинтересно! Я не скажу новое слово! Здесь я не могу этого сделать! Цирк ограничивает актерские возможности, он не терпит многословия. А я хочу видеть в программе монологов, фельетоны, скетчи — я хочу уйти на сцену.

Вот. Слово сказано. На сцену.

— Цирк будущего — это, может быть, то, что делал Евгений Гинзбург в своих «Новогодних аттракционах» на телевидении, — пусть они пока исчерпали себя, но будущее именно в этом направлении. А я мечтаю о постепенном переходе к настоящему иллюзионному театру — сцена обогащает возможности — можно прибавить вокал, хореографию, драматургию. Я вижу, как это будет. Это будет современно, красиво, оригинально. Нужны новые формы.

Я хочу спросить: «Когда?».

Но я молчу.

Я хочу сказать что-то еще, что-то растет во мне, но уже загорается свет и появляются сонные униформисты, подметающие, моющие, что-то переносящие, оживает оркестровая ложа, я тону в море людей, я встаю на цыпочки, чтобы видеть его уходящую фигуру, — он уже дежурно улыбается, властно взмахивает руками, он уходит дальше к выходу, а я никак не пойму, что я только что понял...

А он быстро и уверенно отвечает наработанной скороговоркой: «Да, люблю красиво одеваться, не люблю холода, если бы не был фокусником, был бы шахматистом, как и все человечество, болею за «Спартак», жену сжигаю каждое представление, нет, для нее не опасно, пока люблю; все-все, товарищи, я тороплюсь, мне надо готовиться, извините...».

Все ясно.

Его прожевывает занавес, и я сажусь на место, и на манеж под гром труб выходит парад, и я понимаю, что же я хотел сказать.

Когда я видел выступления Кио, мне всегда казалось, что он здесь как-то не при чем. Такое неловкое, странное ощущение. Он как-то все время держал себя отстраненно: будто разыгрывает нас, кого-то подменяет, вот сейчас он вдруг кем-то обернется, и мы все удивимся! Это был какой-то дилетантизм, который не «до» профессионализма, а «после». Не равнодушие, нет, тоска, что ли. И он, когда уходил, а зрители хлопали, кидали цветы, — он улыбался, но глаза не улыбались, будто сегодня ему не дали что-то показать, но завтра... Наверное, поэтому он так всегда напоминал мне Чаплина, человека, который играл трагедию под укачивание со смеха зала... И ведь мы это все видели.

Всел

Когда?

А МОЖЕТ быть, завтра подуют холодные ветры, мягко ступая когтистыми лапами кленовых листьев, придет осень, дожди омоют голое тело земли для зимнего савана, но даже под снегом, даже в стужу и ночь, желтый лист вянет и гниет, чтобы стать землей, соком, чтобы добраться до корней, взойти по древесному стволу, чтобы дожидаться неистово волнующего душу и плоть благодатного утра апреля и безбрежного весеннего ливня, который берет город в полон, и земля вспухает, опоясанная лакированными ремнями морщинистых ручьев, блестя тропинками, вытравиваясь в сумраке осклизлыми дождевыми червями, капли впадают в плечи острыми осами, и машины спят у обочин, подстелив себе последние коврики сухого асфальта, когда пузыри бильярдными шариками путешествуют по дорогам, а водосточные трубы уныло цедят козлиные бородки серых струй, когда в набрякших пьяной зеленой кровью капиллярах веток торчит веселый воробей и земля пахнет тополиными почками, а золотое солнце утром поднимется и высветит бескрайние просторы вымытой громады земли — густые леса, тягучие реки, зеленые поля, серые глаза домов, опущенных ресницами деревьев, — это все, когда дождь, апрель, весна. И в такие дни так не верится, что прибрежит когда-нибудь мокрая рябая курица и завалит белой скорлупой все на свете.

Александр ТЕРЕХОВ.